

Номо Obsidem: К этическому осмыслению заложничества

Виктор Малахов ¹

Аннотация: Реалии современной войны с неизбежностью порождают ситуацию заложничества. В случае нынешнего Израиля речь идёт, прежде всего, о людях, захваченных в плен террористами, однако опыт как арабо-израильского конфликта, так и российско-украинской войны вынуждает рассматривать феномен заложничества и в более широком плане. Опираясь на размышления Э. Левинаса, автор обосновывает позицию, согласно которой отношения заложничества в целом неустранимы из человеческой жизни и задают особый ракурс этического осмысления последней. В этой связи рассматривается общая структура заложнических отношений, проблемы дорефлексивной ответственности за Другого и добровольного заложничества (заложничество и заступничество). Как показано, мышление «из ситуации заложника» акцентирует, в противовес прескриптивной, собственно практическую, «нравственную» составляющую морального дискурса. В свою очередь, это проблематизирует критерии этической рациональности, побуждает взглянуть на них под углом зрения полиморфизма человеческих практик.

Ключевые слова: заложничество, заступничество, ответственность за Другого, свобода, «вспышечная нравственность», категорический императив, этика взрослого человека

Не измерить одной мерой ремесло солдата
и ремесло заложника.

Антуан де Сент-Экзюпери

Нынешняя проклятая война – да будет мне позволено называть её именно так – прошла в Украине по всему. Среди своих киевских и украинских знакомых я не знаю, пожалуй, ни одной семьи, которую бы она не затронула, ни одного

¹ Малахов Виктор Аронович, доктор филос. наук, профессор, член Независимого Института философии. До 2015 г. главный научный сотрудник Института философии имени Г. С. Сковороды Национальной Академии наук Украины. В настоящее время живёт в Израиле. Работы В. Малахова см. на авторском сайте: [Дом Виктора Малахова](#).

человека, судьба которого не была бы ею сломана или искажена. Думаю, что в несколько ином (впрочем, есть и прямые совпадения), но не менее ощутимом и тяжком смысле это можно сказать и о России – речь не только о явных жертвах этой войны, но и о жертвах латентных, исподволь втягиваемых в зловещий фарватер событий. В смысле же самом массовом, всеохватывающем, без разбора правых и виноватых, жертвами проклятой войны становятся проживающие по разные стороны рокового раскола обычные люди во всей полноте их каждодневного бытия, вдруг оказавшегося всецело зависимым от побуждений и сил, вторгшихся в него, *mutatis mutandis*, извне, будь то пылкие амбиции радикальных националистических групп или же злая воля ревнителей имперского культа. В той или иной степени, в том или ином отношении все мы заложники этой войны, ответчики перед её несправедливым оком. В скорбном ряду заложников нынешней бойни, среди прочих и прочего, я бы также упомянул всю целиком богатейшую русскую культуру Украины, трагическая судьба которой отныне и, боюсь, надолго – быть заложницей у одной ненависти за ненависть другую.

С предельной остротой тема заложничества звучит с октября 2023 года в стране, где нам с женой выпало нынче жить, - в Израиле. Здесь продолжающаяся по сей день война как раз и началась с захвата заложников – сотен граждан Израиля и других государств. С этого момента судьба целой страны оказалась вовлечена в решение роковой антиномии: спасение людей, захваченных в плен террористами, ценою уступок, предсказуемо содержащих экзистенциальную угрозу для всего государства, - либо борьба с этими террористами на уничтожение ценою практически неизбежной в этом случае гибели несчастных заложников. Исход упомянутой коллизии, возможно, будет уже известен уважаемому читателю этой статьи, и едва ли он окажется благоприятным: как говорится, хороших решений в подобном случае быть не может. Меж тем реальные условия, в которых пребывали и доселе пребывают оставшиеся в живых заложники 7 октября, с трудом поддаются воображению. Быть может, как раз в эту минуту кто-то из них прощается с жизнью...

Не упуская из виду трагический нерв этой ситуации, рамки её охвата нам придётся, однако, ещё и расширить. Современный израильский опыт, помимо всего прочего, подтверждает неизменное правило: везде, где есть заложники, обязательно появляются и заложники *при* этих заложниках. Члены семей похищенных, небезразличные к их судьбе люди, вынужденные порой не по своей воле транслировать послания злодеев-террористов или же отбывать подёнщину сомнительных политических мероприятий с целью приблизить освобождение тех, кто им близок и дорог, растущая часть всего населения Израиля – заложники спровоцированной событиями «чёрной субботы» большой войны... А что сказать о несчастных жителях разбомблённой Газы, о населении соседнего Ливана, втиснутом в смертоносное противостояние между ЦАХАЛ'ом и Хезбаллой?

Круги заложничества, спровоцированных насилием и войной, что в Украине, что в Израиле, становятся всё шире. Насильственный захват мирных граждан с целью давления на противостоящую сторону в конфликте – лишь критическая точка в эпицентре такого круга. Современная война обращает массы людей в заложников самыми разными, всё более изощрёнными способами, от ядерного шантажа до отлаженной стратегии постправды, массовый (если угодно, сетевой) потребитель которой фактически оказывается разменной монетой в состязаниях разного рода «игроков». Лавинообразное нарастание процессов, превращающих миллионы людей в заложников насилия и войны, побуждает по-новому взглянуть и на феномен заложничества в целом, глубже осмыслить его далеко не однозначную роль в формировании основ человеческого со-бытия и человеческой нравственной жизни. Целью настоящего очерка как раз и является попытка попристальнее взглянуться в нравственный облик человека-заложника; как представляется автору этих строк, в принципе он заслуживает не меньшего внимания, нежели те ключевые образы человеческого бытия, которые приобрели в современном обиходе звучные наименования *homo faber*, *homo ludens*, *homo viator*, *homo digitalis* и т. д.

Итак, *homo obsidem* – человек-заложник... Но что это, собственно, означает – *быть заложником*? Какие именно человеческие отношения можем мы под эту рубрику подвести? Ведь в ткань рассуждений о заложничестве, как явствует из уже сказанного, вплетаются самые разные обстоятельства текущей жизни – в дополнение к тем трагическим моментам, когда нам очевидным образом приходится иметь дело именно с заложничеством в его откровенном насильственном проявлении и ни с чем иным.

В своей попытке разобраться в этой теме я исхожу из глубоко впечатливших меня в своё время мыслей Эмманюэля Левинаса, удивительным образом сочетавшего западноевропейскую, иудейскую и русскую интеллектуальные традиции в понимании человеческой нравственности. Согласно Левинасу, подобно тому, как игра вводит нас в пространство свободы, не влекущей за собою ответственность, в доонтологических основах человеческого существования содержится и предпосылка ответственности, не отсылающей к свободе – ответственности-наваждения (*obsession*), ответственности за Другого. Упомянутая предпосылка коренится в фундаментальной человеческой близости (*proximité*) и предшествует всякой связи по выбору; этой-то предпосылкой, согласно мыслителю, как раз и выступает «условие заложничества» (*condition d'otage*)².

Вполне очевидно, что в таком освещении заложничество действительно предстаёт явлением общечеловеческим – и нравственно-конкретным одновременно. Не покушаясь на незыблемость установленной ещё в Книге

² Левинас, 2000, с. 344.

пророка Иезекииля *правовой* нормы: «сын не понесёт вины отца, и отец не понесёт вины сына, правда праведного при нём и остаётся, и беззаконие беззаконного при нём и остаётся» (Иез. 18, 20) – рассудим: может ли добросовестный учитель не чувствовать себя нравственно ответственным за своих учеников, хотя бы те давно уже вступили в собственную самостоятельную жизнь? Добросовестные родители – за поступки своих взрослеющих детей? Не предстают ли с такой точки зрения первые в определённом смысле заложниками вторых, нравственные узы с которыми разорвать они не могут? Не оказываемся ли то и дело мы «заложниками» своих друзей и возлюбленных, неспособными отделить груз их прегрешений от сознания нашего собственного «я»? Вспомним слова старца Зосимы из знаменитого романа Достоевского: «Воистину всякий пред всеми за всех и за всё виноват» (их, кстати, любил повторять Левинас) – не подразумевают ли они, что все мы в мировой сети взаимоотношений нравственных существ изначально пребываем, некоторым образом, *в залоге* друг за друга?

Вместе с тем, не менее очевидно и то, что подобное прочтение термина «заложничество» существенно проблематизирует тот специфический зловещий смысл, который мы привыкли вкладывать в это понятие сегодня: крыло заложничества покрывает далеко не только однозначно негативные, насильственные его проявления. Более того, если следовать утверждениям Левинаса, именно «благодаря ситуации заложника в мире могут существовать жалость, сострадание, прощение и близость (как бы мало их ни было)»³. Хотя в любом случае опыт заложничества тяжок: в заложничестве человеческое «я» несёт на себе «тяжесть мира»⁴, преодолевая ради этого нравственного бремени притяжение собственного бытия. Изначально лишённое благословения свободы и при этом отягощённое не подлежащими отмене обязательствами других, заложничество сплавляет в единство осмысленного человеческого присутствия в мире «покинутость, тяжесть, ответственность, наваждение и Я»⁵. При этом, придерживаясь обрисованной позиции, имеются, повторюсь, все основания рассматривать состояние заложничества как удел общечеловеческий, сопоставимый с признанными определительными чертами человечности как таковой: человек мыслящий, производящий, играющий, странствующий... Человек-заложник: *homo obsidem*.

Прежде, однако, чем идти дальше, подытожим только что сказанное уже независимо от собственно левинасовской разметки занимающей нас здесь темы. Итак, при всей размытости феномена заложничества как такового и многообразии его проявлений, основу для его понимания мы можем

³ Там же, с. 345.

⁴ Там же, с. 344.

⁵ Там же, с. 345.

усматривать во вменении человеческому субъекту (ибо речь у нас здесь идёт только о людях), до и независимо от его собственного сознательного решения на этот счёт, ответственности за произвольные действия кого-то или чего-то другого, с кем он связан определёнными нравственными узами. Достаточно очевидно, что поставить нас в подобное положение невольной ответственности за другого могут как насильственные акции захватчиков, так и множество иных различных факторов, вплоть до несчастного стечения обстоятельств или даже доброго отношения к нам кого-то, в моральную зависимость от кого мы попали.

Разумеется, в своей оценке конкретных ситуаций заложничества мы не можем игнорировать принципиальный вопрос о наличии (или отсутствии) умысла: интенции на *использование* предполагаемой человеческой близости в качестве орудия давления. У злодея-террориста наличие такой интенции несомненно, у нашего доброжелателя, по предположению, её нет. Сама по себе установка на подобное использование, вырывающая её носителя из сети корневых межсубъектных нравственных связей, несомненно, бесчеловечна – *противочеловечна*; с правовой точки зрения именно её доказанное наличие зачастую приобретает решающее значение. Тем не менее, в смысловом поле нравственной рефлексии имеется, на мой взгляд, достаточно оснований рассматривать упомянутую интенцию скорее как относящуюся к ряду возможных модификаций феномена заложничества, нежели как его общее отличительное свойство. В широком спектре человеческого опыта смысловая структура заложничества выказывает своё присутствие помимо всяких отсылок к намерениям предположительно стоящего за ним субъекта-инициатора.

Как мало какая другая особенность человеческой нравственной жизни, заложничество способно к иррадиации: поделиться с ближним улыбкой или дурным настроением зачастую бывает не много проще, нежели своим положением заложника. За примерами далеко ходить не надо. Все мы, в частности, независимо от места проживания, заложники тех наших духовно озабоченных сограждан, чувства которых мы ни в коем случае оскорблять не должны. Расходясь по человеческому морю, волны заложничества так или иначе задевают каждого, и у каждого, наверное, есть собственный подобный опыт: в какой-то момент невольно оглядеться вокруг себя обречённым, застигнутым врасплох взглядом человека, вдруг оказавшегося в положении, вообще говоря, невозможном, *немыслимом* с привитой нам нашим модернистским образованием точки зрения, согласно которой каждый думает сам, самостоятельно принимает решения и сам отвечает за свои поступки. Не повод ли это, чтобы всерьёз задаться вопросом, в каком, действительно, свете предстают перед нами жизнь и мир, если взглянуть на них глазами заложника? Каково это – из глубины своего заложничества пытаться заново осмыслить собственные нравственные обязательства, собственный выход в большой человеческий мир? Сделать это «немыслимое» состоянием основой своего нравственного дискурса? Не откроет ли нам такой подход некий новый аспект в понимании человеческой нравственности как таковой?

Прежде всего, замечу, что указанная перспектива представляет собой прямую противоположность жизненной модели нравственного самоопределения личности, исходящей из кантовского понимания автономии воли как высшего принципа нравственности. Мы знаем, что, согласно Канту, нравственность присуща человеку именно как свободному существу и коренится в его умопостигаемой природе, независимой от какой бы то ни было эмпирической детерминации. Знаменитый *категорический императив* потому и именуется категорическим, что его предписания никакими обстоятельствами внешнего или внутреннего опыта не обусловлены и подлежат исполнению «как объективно необходимые сами по себе, безотносительно к какой-либо другой цели»⁶. В основе всех подобных предписаний может, по Канту, лежать только лишь чистая форма «общей законосообразности поступков вообще»⁷; таким образом, в содержании императива «не остаётся ничего, кроме всеобщности нравственного закона, с которым должна быть сообразна максима поступка»⁸. С такой точки зрения человек, подобно всякому вообще самоопределяющемуся разумному существу, и должен оценивать собственное поведение.

Существенно вместе с тем, что эта возвышающаяся над всем миром «эмпирических склонностей» всеобщность долженствования трактуется кёнигсбергским мыслителем как предмет воления самоопределяющейся человеческой субъективности. Человек, настаивает Кант, «подчинён только своему собственному и тем не менее *всеобщему законодательству*... он обязан поступать, лишь сообразуясь со своей собственной волей, устанавливающей, однако, всеобщие законы согласно цели природы»⁹.

Вчитаемся в эти слова – сколько в них убеждённости в несокрушимом человеческом достоинстве, сколько пронесённого сквозь всю жизнь юношеского апломба! О, разумеется, в арсенале Канта-этика достаточно средств, чтобы квалифицированно вскрыть самый нерв наших нынешних разысканий, – исходя из чеканных формулировок категорического императива, он безоговорочно осуждает такого «нарушителя прав людей», который «помышляет использовать личность других только как средство, не принимая во внимание, что их как разумные существа должно всегда ценить также как цели»¹⁰, – а ведь любой негодяй, насильственно захватывающий подвернувшегося невинного человека *в залог* за кого-то другого, как раз и притязает на то, чтобы лишить свою жертву статуса самоцельной самоопределяющейся субъективности, превратить её в безгласное средство

⁶ Кант, 1994а, т. 4, с. 187.

⁷ Там же, с. 172.

⁸ Там же, с. 195.

⁹ Там же, с. 209.

¹⁰ Там же, с. 206.

расплаты, причём, по возможности, наиболее наглым и вызывающим способом. И вся внутренняя жизнь заложника, его тяжкая борьба как раз и сосредоточивается на том, чтобы эту свою пограничную субъективность отстоять, не дать ей задохнуться совсем, угаснуть под обезчеловечивающим гнѐтом. В этом отношении Канту и его вошедшей в золотой фонд мировой этики «формуле персональности»¹¹ нам, конечно, остаётся только сказать спасибо.

И всё-таки нет, на мой взгляд, бѐльшего вызова «нормальной» европейской этике кантовского образца, нежели тот, который являет собой нравственный опыт заложничества. Дело не только в том, что, в противовес кантовской этике, нравственная ситуация заложника по определению гетерономна, – существуют ведь и такие формы добровольной зависимости, которые к заложничеству как таковому прямого отношения не имеют. У самого Канта мы можем читать о нравственной необходимости для человеческой личности «содействовать осуществлению целей других»¹², о том, что «цели субъекта, который сам по себе есть цель, должны быть, насколько возможно, также и *моими* целями»¹³, – что это, если не частичное, ограниченное, но всё же признание гетерономного начала нравственности? Однако у Канта *Другой*, по существу, лишь присутствует в процессе нашего собственного нравственного самоопределения, причём присутствует, можно сказать, как своего рода идеальный конструкт, наш сочлен в идеальном же «царстве целей»¹⁴; без реального жизненного контакта с подобным «Другим» мы вполне способны и обойтись. Есть своя правда в прошедшем сквозь сито времѐн хрестоматийном образе кантовского моралиста, застывшего навсегда в позе «великолепного одиночества»¹⁵ – со своим звѐздным небом над головой и моральным законом в сердце.

Между тем в опыте заложничества со-присутствие Другого экзистенциально неизгладимо. *Другой* здесь как бы вплавлен в нашу плоть таким образом, что собственное наше нравственное естество преобразуется в своего рода нарост вокруг мест его вторжения: его навязчивость обременяет и исподволь изменяет нас, трансформирует нашу душу. Под неотступным присмотром проникшего в поле нашего существования *Другого* мы становимся – вынуждены, обязаны становиться! – необычайно, помиллиметрово восприимчивыми к каждой детали, каждому оттенку обступающей нас реальности, настороженно-бдительными и, вместе с тем, податливо-пластичными по отношению к любым самым непредвиденным и для нас,

¹¹ Там же, с. 205.

¹² Там же, с. 207.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же, сс. 210–217.

¹⁵ [Левинас, 2000, с. 344.](#)

казалось бы, совершенно невозможным изменениям в ней. В противовес кантовскому ригористическому максимализму, не признающему никаких уступок «эмпирической склонности» («Долг! Ты возвышенное, великое слово»¹⁶... – кто не помнит этот вдохновенный пассаж), нравственный опыт всесветного заложничества учит жить и действовать с оглядкой, по возможности не забывая о своих путеводных звёздах, но фокусируясь прежде всего на ближайшей, эмпирически настоящей потребности дня и часа. Свет далёких императивов для нас словно бы преломляется в неотпускающей среде реальных человеческих зависимостей, становится в этой среде едва видимым, почти неразличимым: нужны особые усилия, чтобы не потерять его совсем из виду в мутном водоёме заложничества. Нужны усилия, нужна внутренняя собранность, нужны особое терпение, толика практической мудрости, умение применяться к обстоятельствам – и непрестанная, не ведающая усталости готовность в критический момент встать и сделать то, что необходимо. Слегка перефразируя Левинаса, я назвал бы этический кодекс заложника, буде таковой можно себе вообразить, – на контрастном фоне проникнутого поистине юношеским энтузиазмом кантовского учения о категорическом императиве – *этикой взрослого человека*. Думаю, такого названия он вполне заслуживает.

Однако знаком ли нам, знаком ли, в частности, автору этих строк нравственный опыт заложничества настолько, чтобы браться судить о нём? Решусь утверждать: да, знаком. Как уже отмечалось, заложничество по своему существу отношение всечеловеческое, и проявляться оно может не только в насильственных своих формах. Как часто мы ощущаем заложническую связь с достаточно близкими нам людьми, за которых мы *volens-nolens* должны держать ответ перед *любим*, и весьма часто неправым судом! Или попросту обнаруживаем себя в положении заложников тех или иных трудно сложившихся обстоятельств, переступить через которые означало бы пробудить цепь событий, над которыми мы не властны... Во множестве самых разнообразных житейских случаев именно нравственное чувство подсказывает нам, что любые наши решения по типу «исполняй свой долг, и будь что будет!» окажутся слишком прямолинейными, по-юношески нетерпеливыми, и что совесть требует от нас чего-то совсем другого. Что вообще, быть может, дело не в нас и не в нашем решении, вернее, не только в нём одном, но и в чём-то – или в ком-то? – совсем *другом*. Это бремя *другого* (*Другого?*) сковывает нашу решимость, камнем ложится на грудь...

И всё же наиболее объёмно и определительно иго заложничества предстаёт перед нами именно в наиболее жёстком, насильственном своём воплощении. Вот уже когда в полной мере дают о себе знать и свирепая десубъективизация, и ответственность за невесть какие прегрешения других, и близкая перспектива несправедного суда и расправы, и бешеная жажда свободы,

¹⁶ Кант, 1994с, т. 4, с. 477.

и упорная, не ведающая отдыха повседневная борьба за каждый клочок этой свободы и саму человеческую жизнь – бесконечное их выторговывание у судьбы, у обстоятельств, у тех же *Других*...

Яркий пример столкновения максималистских установок собственной ригористической этики с нравственной ситуацией человека-заложника нам предоставляет сам Кант; я имею в виду позднюю (1797 г.) его работу «О мнимом праве лгать из человеколюбия». Коллизия, рассматриваемая в этом небольшом сочинении, как, быть может, помнит читатель, сводится к следующему вопросу: «должен ли человек в высказывании, к которому его несправедливо принуждают, сказать неправду, с тем чтобы спасти себя или кого другого от угрожающего ему злодеяния?»¹⁷ Если, положим, мы у себя в доме прячем кого-то, кто скрывается от преследований, должны ли мы, руководствуясь чисто моральными побуждениями, правдиво отвечать на расспросы преследующих его злоумышленников или же нравственнее будет им солгать?

Очевидная – и слава Богу! – для современного читателя практическая однозначность описанной ситуации вовсе не означает, что в теоретическом плане здесь говорить не о чем.¹⁸ Проблема, поставленная в упомянутом эссе, может быть проанализирована с позиций этики прескриптивной, дискурсивной, прагматической и т. д. Нас здесь интересует, естественно, возможность рассмотрения данной ситуации с точки зрения (точнее, точки *нахождения*) человека-заложника. По сути дела, как это часто и случается в реальности, заложничество здесь обоюдное: если люди, знающие о местонахождении потенциальной жертвы, вынуждены в буквальном смысле *отвечать за неё*, то тот, кого разыскивают, отвечает собственной головой за *их* решение, *их* свободный выбор.

Примечательно, что сам Кант, при всей неподкупной суровости своего учения о долге, не признающего никаких эмпирических поблажек, проявляет в данном случае неожиданную снисходительность. Сказал правду, убеждает он оказавшегося в затруднительном положении домохозяина, «остался в пределах строгой истины» – и всё, своё обязательство перед «человечеством вообще» ты выполнил, и никакое «публичное правосудие ни к чему не может придраться, каковы бы ни были непредвиденные последствия твоего поступка»¹⁹: ведь не ты сам причиняешь вред тому, кто страдает от твоего правдивого свидетельства, но случай.²⁰ Ну а что скажет *совесть* подобному горе-правдолюбцу при известии

¹⁷ Кант, 1994b, т. 8, с. 257.

¹⁸ См., напр., сборник материалов дискуссии, посвящённой проблематике упомянутой работы Канта: Апресян, 2011.

¹⁹ Кант, 1994b, т. 8, с. 258.

²⁰ Там же, с. 260.

о расправе над несчастным, которого он предал, – о том кантовская статья умалчивает.

Между тем, ощутить себя в подобной ситуации её *заложником* – вовсе не обязательно значит примириться с собственной пассивной ролью и умыть руки. Прежде всего, такое осознание выводит на свет определённый нравственный вызов, перед которым человек может либо капитулировать, либо стать на путь «точечной», сосредоточенной на решении конкретных практических задач и, что, быть может, самое трудное, покорствующей указаниям извне упорной повседневной работы, направленной на добывание, отстаивание и, да, выторговывание каждого следующего глотка свободы и жизни, своей и чужой. Да, это бремя взрослого человека, сопряжённое порой с необходимостью лгать, изворачиваться, вести двойное существование, – иначе как спасёшь того, кто тебе доверился, того, кто рядом с тобой? – и вместе с тем быть готовым в любой момент к решительному, отчаянному шагу. Поистине – напомним эпиграф к этой статье – ремесло солдата и ремесло заложника не измерить единой мерой: у каждого свой подвиг, свой крест.

При этом отдадим всё-таки должное великому Канту и той незыблемой убеждённости, с которой он даже и в этом своём кратком тексте отстаивает «суровейший долг» и «священную... заповедь разума: во всех показаниях быть *правдивым* (честным)»²¹. В самом безысходном заложничестве нам не следует забывать о безусловных велениях долга, о ценностях свободы и достоинства, об уважении к чужой жизни, о том, что лгать непозволительно, а предавать подло. Пусть в отдалении²², сквозь тусклые стёкла неволи мы всё же обязаны различать контуры общечеловеческой нравственной нормы. Иначе пузырь заложничества окончательно схлопнется над нашей головой, и злоумышленная цель всецелой нашей десубъективации, превращения в безгласный предмет, механически «закладываемый» куда-то, или, того хуже, в орудие, направленное против наших ближних, в полной мере будет достигнута.

Разумеется, от человека в положении заложника невозможно требовать – как того требовал Кант от адресата своего учения о категорическом императиве – целостной и непротиворечивой картины его моральных обязательств. Такой картины сложиться для него попросту не может, покуда он находится в положении существа, влекомого в неведомом для него направлении *Другим*. Но в каждой конкретной ситуации своего бытия заложником он, тем не менее, способен выстраивать для себя ту или иную последовательность приоритетов, принимать на этой основе те или иные решения и, насколько позволяют обстоятельства, пытаться эти решения осуществить. Подобный опыт экс-

²¹ Там же, с. 260, 259.

²² Ср. понятие *внезаходимости* у М. М. Бахтина. Как страшно и точно звучит этот термин применительно к ситуации заложника!

центричной нравственной самоорганизации может быть, на мой взгляд, охарактеризован как совокупность некоторых *практик*, – исходя из аристотелевской традиции понимания *πρᾶξις* как поступка, цель которого неотделима от него самого и реализуется как своего рода «благо-получение в поступке» (εὐπραξία) (Eth. Nic. 1140b 7–8)²³ в условиях, когда ни на какую заранее предположенную доктринальную определённую полагаться нельзя и «всё может быть и иначе» (там же, а 35)²⁴. Оседая в практических поступках, их цели оказывают формирующее влияние и на самого действующего субъекта; таким образом, уже задолго до Маркса мы, следуя Аристотелю, обретаем основания утверждать, что каковы практики, таким, в конечном счёте, становится и сам их субъект.

Тем, соответственно, важнее, чтобы нравственные практики человека даже в условиях заложничества были ориентированы не только на текущие потребности выживания, но и на сохранение его собственного человеческого лица и посильную помощь тем, кто оказался рядом. Ибо, как когда-то уже приходилось писать автору этих строк, любое своё дело мы можем делать по-человечески – или как-то иначе. Трудное «ремесло заложника», на мой взгляд, исключения не составляет. Настаивать в таком контексте, разумеется, ни на чём нельзя – напомню, что мы здесь не в поле действия автономной моральной воли с её категорическим императивом, – и всё же крайне желательно, чтобы поведение человека, попавшего в ситуацию заложника – а кто из нас так или иначе в неё не попадал! – выливалось не только в понятную «заботу о себе», но и в не менее, думается, основополагающие для всякого человеческого существа *практики человечности*²⁵ (варианты которых зависят от конкретных обстоятельств, как они складываются в каждый данный момент нашего бытия).

В этой связи нельзя не вспомнить о том трагическом звучании, которое описанная Кантом нравственная коллизия обрела в годы Холокоста. Известно множество свидетельств того, как тесно, как болезненно для людей, ставших в конечном счёте на путь спасения преследуемых жертв нацистского режима, сплетались порой сакраментальный вопрос: спасти или пройти мимо – и страх оказаться в шатком, двусмысленном положении заложника, вынужденного изо дня в день лгать, притворяться, в случае нужды подделывать документы, красть хлебные карточки и т. п., страх обременить свою и без того непростую судьбу томительным присутствием в ней *Другого*²⁶. По словам одного из тогдашних немецких спасателей евреев (Hermann Diem), «даже те среди нас, кто принимал на себя любой риск и любую личную жертву, к такому шагу не были готовы...

²³ Аристотель, 1983, с. 177.

²⁴ Там же.

²⁵ См.: Малахов, 2018.

²⁶ См., напр.: Мадиевский, 2006, с. 60–76 и др.

Здесь была налицо преграда, труднопреодолимая для многих»²⁷. Несложно предположить, что в глазах этих многих мужественное и прямодушное «ремесло солдата» выглядело бы куда предпочтительней: «Да, сволочи, знайте, что я, именно я пытался защитить от вас этих несчастных людей! Свиньи, я вас ненавижу! Я засыпаю и просыпаюсь с мечтой, чтобы вы все передохли! Я... я...» – только вот что в таком случае было бы делать *Другим*, тем, которые на тебя положились?

Тем большего уважения достойны те, кто принял на себя эту ношу.

Вспоминается один в своё время прогремевший, а ныне прочно забытый фильм – лента венгерского режиссера Золтана Фабри «Пятая печать» (1976), по одноимённой повести Ференца Шанты. Действие фильма происходит осенью 1944 г., вскоре после салашистского переворота в Венгрии. Четверо завсегдатаев крохотного кабачка, закадычные приятели и, как они сами себя называют, «маленькие люди», за подслушанные вольные разговоры оказываются к концу картины в застенке тайной полиции. Тюремщики предлагают им сделку: тот из них, кто дважды ударит избитого до смерти человека («Иисуса»), будет отпущен на свободу, отказавшимся грозит расстрел. Кто-то из друзей отказывается ударить стоящего перед ними несчастного, кто-то просто не в состоянии это сделать; владелец кабачка, трактирщик Бела, бросается на мучителей с кулаками, его тут же расстреливают. И только часовщик Дюрица, человек явно с умом и совестью, подходит, преодолевая себя, к истекающему кровью «Иисусу» и дважды отчётливо ударяет его по лицу. Дюрицу отпускают. По рушащемуся под обстрелом, разваливающемуся городу он в трансе бредёт домой, где его ждут дети – спрятанные им «неправильные» дети, которые без него погибнут.

Впрочем, это могли бы быть и собственные его дети, не так ли?

Перед нами, как мне представляется, достаточно выразительный пример онтологической «выброшенности» человека-заложника из сферы прямого действия велений долга и норм общечеловеческой морали, о которых он, тем не менее, обязан – внутренне, по-человечески обязан – не забывать. Существует, однако, помимо универсалистской морали норм, ещё и нравственность точечная, я бы сказал, вспышечная (*flash morality*, если угодно), также имеющая в некотором роде общечеловеческий характер. Подобные вспышки, как бы плазменные пылающие сгустки сострадания, жалости, гнева, ненависти, стыда пробиваются к нам и сквозь затемнённую оптику заложничества – и тем мучительнее, тем весомее западают нам в душу. Напомню уже цитированные выше строки: «благодаря ситуации заложника в мире могут существовать жалость, сострадание, прощение и близость (как бы мало их ни было)»²⁸.

²⁷ Цит. по: Мадиевский, 2006, с. 70.

²⁸ Левинас, 2000, с. 345.

Надеюсь, в контексте всего изложенного эта мысль философа прозвучит достаточно убедительно. Хотя... Хотя в самих терминах «заложник», «заложничество» чудится всё-таки, нельзя не признать, и нечто такое, что в разговоре о жалости, сострадании, прощении и милости режет наш слух, – не правда ли? Представьте себя или своего ближнего находящимися в смрадной яме под замком у извергов-террористов – какая тут, казалось бы, может быть милость? А если обратиться к противоположному краю того же смыслового спектра – ну какой, скажите, отец не в минуту крайнего отчаяния признаёт себя заложником собственных детей, какой учитель согласится предстать в роли заложника своих любимых учеников – даже если бы по сути дела это было именно так? Кто пожелал бы для себя участи быть *только заложником* своей Родины – при сколь угодно самоотверженной любви к ней?

Однако человеческая жизнь богата оттенками; естественно, что устоявшейся терминологии для адекватного осмысления всего разнообразия этих оттенков нам может порою и не хватить. Если, опять-таки, следовать нашему Вергилию в настоящих разысканиях, Эмманюэлю Левинасу, изначальная доонтологическая близость человека с Другим («близость, предваряющая любое согласие»²⁹) и вытекающая из этой близости ответственность за Другого даны нашему «я» как некое «наваждение» (*obsession*), предшествующее всякой связи по выбору, всякой свободе³⁰. Это наваждение близости, эта «ответственность за то, что я не совершил – за боль и ошибки других»³¹ могут быть насильственно навязаны – и, тем не менее, в сущностном плане словно бы «возвращены», «перенаправлены» – человеческой субъективности, на чём и зиждется феномен заложничества в самом строгом, трагически серьёзном понимании последнего. Человек, далее, способен принимать собственное заложничество как некоторого рода экзистенциальную данность – или же восставать против него, всячески пытаться его превозмочь. Он может также добровольно взвалить на себя иго заложничества, освобождая от его неизбежности кого-то другого – предложить, например, террористам в заложники себя взамен удерживаемых ими женщин или детей. Наконец, упомянутая ответственность «за боль и ошибки других» может стать для человеческой личности основой не единичного акта самопожертвования, а целостной сознательно избранной линии поведения; такого рода позиция, на мой взгляд, внутренне уже несовместима с неизменно сопутствующим термину «заложник» смысловым оттенком пассивности и вполне заслуживает иного, хотя и близкого по несомому им нравственному содержанию наименования «заступник». Помимо упоминания о *святых заступниках*, образы которых многим из нас знакомы по церковному преданию, для материализации

²⁹ Там же, с. 343.

³⁰ Там же, с. 344.

³¹ Там же.

представления о названной нравственной позиции, думается, вполне достаточно примера таких благородных людей, как Януш Корчак или академик Андрей Сахаров. Впрочем, к теме соотношения заложничества и заступничества нам ещё предстоит вернуться на последних страницах этого очерка.

Пока что ограничусь предположением, что изложенная попытка нюансированного освещения заложничества позволяет, не размывая основную градацию его проявлений, акцентировать некоторые общие черты, дающие о себе знать и в трагических ситуациях насильственного захвата, подобных той, в которой оказались люди на юге Израиля 7 октября 2023 г., и в тончайшей структуре тех деликатных межличностных связей, применительно к которым самый термин «заложничество» начинает выглядеть чрезмерно жёстким, тяжеловесным, уродливым. В любой из бесчисленных модификаций заложничества мы в той или иной степени можем наблюдать и несение ответственности за Другого, и (брутальное или же утончённо-вежливое) отчуждение от личности определённых её субъективных прерогатив, и «нравственность с оглядкой», и перспективу заведомо неправого, предвзятого суда – суда за Другого, и исподволь вызревающую жажду свободы, и болезненно-яркие вспышки пронзительной жалости, боли за ближнего, милосердия, раскаяния, любви.

И снова возникает неизбежный вопрос: откуда у людей определённого поколения, определённой культурной среды и исторической судьбы, людей, у которых автор этих строк, откровенно говоря, прежде всего надеется найти понимание и душевный отзвук, – откуда у всех нас мог бы взяться тот живой *внутренний опыт* заложничества, который позволял бы с некоторыми основаниями судить о его глубинной человеческой сути?

Помимо того, что опыт этот потенциально всечеловечен, т. е. в той или иной степени может быть предположен у каждого, – своеобразным его источником именно для людей нашей культурной формации, моих одноклассников и соотечественников, является, на мой взгляд, та глубинная нравственная структура общественной жизни позднего советского времени, которую мы ещё застали. По этому поводу не могу не заметить следующее. В нынешнем восприятии тех времён, с течением лет всё менее обременённом реальной человеческой памятью, перед глазами современной молодёжи зачастую предстают типичные фигуры, с одной стороны, пропитанных казарменным духом «совков», с другой – беспринципных, озабоченных лишь собственным благополучием приспособленцев, – ну и, разумеется, некоторое количество героев-диссидентов, убеждённых борцов против режима, с третьей. Если не герой, то «совок»; если ни то и ни другое – хитрый пройдоха, конформист, мразь. В основном же – «совки», «совки», «совки»; миллионы «совков» под красным тяжёлым знаменем – на то и власть у них совковая... И фашизм

разгромили «совки», и музыку гениальную писали, и в Космос успели слетать на своём драном совковом помеле, чуть было до Луны не добрались – «совки»...

Не завидую тем обладателям подобного рода представлений, которым приходится каждодневно соотносить с ними собственную, естественную для всякого человеческого существа светлую мелодию детства, собственные, хотя бы немногие, позитивные впечатления той поры. Что ж, отвечать за грехи отцов нам приходится тоже, и эта драматическая коллизия добавляет в многоцветную ткань проблематики, занимающей нас на этих страницах, свой особый оттенок. Но прежде всего, на мой взгляд, для лучшего понимания нашего собственного прошлого в только что приведенную классификацию основных групп населения бывшего Союза или, вернее, в набор основных измерений тогдашнего человеческого бытия – ибо в историческом локусе, о котором идёт речь, все, в конечном счёте, дышали одним и тем же воздухом и сталкивались с напором одной и той же реальности – следовало бы добавить ещё и проанализированную нами здесь категорию *человека-заложника*. Не вызывает сомнений, что для огромного множества живших в ту пору наших соотечественников, людей, с которыми мы связаны тесными родственными и преемственными узами, основным фактором, определяющим нравственный тонус их существования, было отнюдь не бесхребетное приспособленчество и не слепое служение каким-то отвлечённым идеям, вычитанным в большой партийной книге, а именно более или менее глубокое понимание своей вне-свободной, до и независимо от какого бы то ни было личного решения воспринятой тяжкой ответственности – ответственности за своих близких, своих детей и родителей, свою злосчастную страну. Общечеловеческие коннотации такой ответственности очевидны: за каждым несправедным судом, опровергая, но вместе с тем в каком-то смысле также и продолжая его собой, может таиться, да и непременно таится суд праведный, за каждым приговором бесчеловечной, жестокой власти может читаться суждение более глубокое, суждение окончательное. Тем по-человечески труднее даются любые честные попытки отсепарировать под этим углом зрения наш специфически советский опыт от нравственной ситуации любого родителя, учителя, врача, любого патриота своей страны – даже в том случае, когда сделать это необходимо.

Поистине – повторю ещё раз избранный для этих размышлений эпиграф-рефрен – для ремесла заложника и ремесла солдата нет и не может быть общей меры...

И всё же, дорогой читатель, сознавать себя заложником за свою страну (тем более у своей страны) унизительно, постыдно – даже если понимаешь, что по большому счёту это именно так. Горько, унизительно ощущать себя заложником собственных детей, заложником поколений, которые, как говорится, идут нам на смену, – для достоинства человеческого такое состояние нестерпимо. При том, что следует признать – вот ещё один смысловой рефрен настоящего рассуждения – да, именно благодаря заложничеству в широком

смысле слова в мире и существуют прощение, сострадание и жалость: есть окна, которые раскрываются только в ночи, есть вспышки, различимые только во тьме (или опрокидывающие всё остальное во тьму – *flash morality*), – и всё же ночь, как бы то ни было, остаётся ночью. Или, может, «ситуация заложника», которую в данном случае имел в виду Левинас, по сути своей уже выходит за рамки той унижающей человеческую душу ожесточённой пассивности, которую мы, по крайней мере, в стихии русского языка, привыкли связывать с состоянием заложничества как таковым?

Вот здесь-то, на мой взгляд, у нас и появляется повод вернуться к начатому разговору о различии между собственно заложничеством и заступничеством. Да, быть заложником людей, с которыми ты связан тесными узами, унижительно, недостойно – напротив, исполнена достоинства и благородства мужественная готовность человека *заступиться* за своего ближнего, свободно и ответственно разделить с ним его бремя. Если сам принцип заложничества, его, так сказать, идейный замысел предполагает десубъективацию человеческого существа, превращение человека в находящуюся под внешним контролем вещь – *залог*, – то нравственное понятие заступничества столь же явным образом отсылает к идее *поступка* как основы ответственного нравственного самоопределения личности, в данном случае – самоопределения альтруистического, совершаемого под знаком «доминанты на лицо Другого» (А. А. Ухтомский). Между тем, глубинным условием возможности как первого, так и второго, как собственно заложничества, включая самые жестокие его проявления, так и нравственной способности заступаться за ближнего выступает, как видим, всё та же неоднократно упоминавшаяся выше доонтологическая близость человека к человеку, близость-наваждение, предваряющая любую свободу, любую связь по выбору и делающая нас *сочеловеками* друг другу (*Mitmenschen* – есть в немецком языке такое хорошее слово).

Эту основополагающую человеческую близость безжалостно эксплуатируют террористы разных мастей, и она же, порой вопреки всему, порождает в наших сердцах внезапную жалость, милосердие, способность прощать, вспыхивает пылающими очагами сострадания, ненависти, стыда, вынуждает людей идти на отчаянные поступки, порой и на смерть друг за друга... Светлые образы тех, в чьих деяниях наиболее ярко проявилась эта всечеловеческая способность к заступничеству, и в нынешние ястребиные времена хранит людская память. Сегодня, разумеется, мы всё более предпочитаем полагаться лишь на самих себя – моё тело это моё дело! – и на свои электронные придатки, но положи руку на сердце: кто из нас в глубине души хоть раз в жизни не пожелал, чтобы кто-нибудь более мудрый, нежели мы сами, более добрый и более могущественный за нас заступился? нас пожалел? Кто-нибудь живой, а не мёртвый... При этом нужно ведь понимать, что заступиться за тебя, как может заступиться мудрый наставник, учитель и друг, вовсе не означает делать собственное твоё нравственное суждение и, тем более,

весь твой неповторимый, не даром доставшийся личностный опыт напрасным, ненужным. Как замечал в этой связи не кто иной, как Мартин Хайдеггер, настоящая заступническая забота о Другом принципиально отличается от навязчивой «заботливости», ставящей себя на место Другого, чтобы его *заменить*. Последняя «берёт то, чем надо озаботиться, на себя вместо другого», который при этом оказывается «выброшен со своего места, отступает, чтобы потом принять то, чем озаботились, готовым в своё распоряжение или совсем снять с себя его груз. При такой заботливости другой может стать зависимым и подвластным...»³². Противостоит же ей, по мысли немецкого философа, такая забота о Другом (*Fürsorge*), «которая не столько заступает на место другого, сколько *заступничает* за него в его экзистенциальном умении быть, чтобы не снять с него «заботу», но собственно как таковую её вернуть»³³.

Не могу не пожалеть о том, что упомянутая хайдеггеровская мысль осталась, по всей видимости, неизвестна людям, которых в позднюю советскую пору у нас принято было называть педагогами-новаторами, – думается, они могли бы по достоинству её оценить. Да, настоящий заступник, настоящий (вот ещё одно напрочь забытое слово) *наставник* никогда не будет делать тебя *заложником* собственной доброты: его усилия будут направлены на то, чтобы расширить и защитить пространство твоей свободы, а не на то, чтобы его сократить. И таких заступников и наставников мы, дети весенних предгрозовых лет, как бы то ни было, для себя находили – благодаря им, я уверен, мы и донныне способны держаться на собственных ногах. Ну а то, что сами дорогие наши наставники были, в свою очередь, заложниками всевластной системы, да и, ежели присмотреться поближе, иных любопытных своих коллег, заложниками порой молчаливыми, порой бунтующими, – об этом нам, их питомцам, дано было догадываться уже и в те напоённые предчувствиями годы. И разделяя их дружеский круг, всецело принимая свою к нему сопричастность, мы как наше общее достояние и как собственную исповедь могли бы повторить проникновенные строки:

Да, мы горожане. Мы сдохнем под грохот трамвая,
Но мы ещё живы. Налей, старикашка, полней!
Мы пьём и смеёмся, недобрые тайны скрывая, –
У каждого – тайна, и надо не думать о ней.

Есть время: пустеют ночные кино и театры.
Спят воры и нищие. Спят в сумасшедших домах.
И только в квартирах, где сходят с ума психиатры,
Горит ещё свет – потому что им страшно впотьмах.

Уж эти-то знают про многие тайны на свете.
Когда до того беззащитен и слаб человек,

³² Хайдеггер, 1997, с. 122.

³³ Там же.

Что рушится всё – и мужчины рыдают как дети.
Не бойся, такими ты их не увидишь вовек... (Александр Гитович)

Мне, впрочем, доводилось лицезреть своих тогдашних наставников и в минуты их слабости. Да и, конечно же, не мне одному...

Рискну, опираясь, в частности, на этот свой скромный персональный опыт и продолжая намеченные в нём азимутальные линии, предположить, что и в любых, даже в несравненно более суровых условиях между заложничеством и заступничеством не может быть проведено жёсткой разделительной черты: к исторической феноменологии общечеловеческого бесспорно принадлежит тот факт, что и в самом тяжком плену, самом безысходном заточении человек оказывается способен вдруг встать с колен и совершить свой, быть может, единственный и последний *по-ступок*: прикрыть, заступить собой своего ближнего, спасая *его* свободу, *его* жизнь. Линию раздела, притом принципиальную, я вижу (кто бы уполномочил меня на это?) между тупым отчаянием, побуждающим горестно сложить руки и признать неумолимость судьбы, – и удержанием в памяти и в душе своего принципиального статуса субъекта, деятельной жаждой свободы, неистощимыми практиками человечности, возможность которых остаётся открытой для нас до последнего вдоха: ведь всякое дело, даже за мгновение до собственной смерти, можно делать *по-человечески* – либо как-то иначе...

Помнить, не забывать и в самых мрачных обстоятельствах о ценности своей и чужой свободы, о несправедности насилия, упорно, вопреки всему, не признавать правоту насильника над собою, – не в этом ли следовало бы видеть нам, тяготеющим и сопричастным, основную *добродетель заложника*? Только не будем спрашивать об этом тех, до кого нам из нашего комфортного полуплена всё равно не докричатся, не долететь.

Поистине, у ремесла солдата и ремесла заложника нет общей меры...

Когда кто-либо попадает в заложники, у этой никогда не исчерпывающей саму себя ситуации может быть, в принципе, три исхода: заложников либо освобождают (или, как частный случай, они освобождаются сами), либо они гибнут в плену, либо же остаются в заложниках навсегда. Третья перспектива, пожалуй, наиболее созвучна общему состоянию современной человеческой цивилизации. Как нам в этих условиях затягивающейся петли заложничества жить, как оставаться людьми, что делать с нашими моральными императивами? Как избавить наших детей, да и будущие поколения рода человеческого от предвидимого положения заложников наших нынешних грехов и просчётов?

Ответа на все эти вопросы у меня, понятное дело, нет. Остаётся открытым и главный, пожалуй, в контексте настоящего разбирательства собственно философский вопрос. Вопрос заключается в следующем. Как было показано выше, в многообразном мире человеческих взаимосвязей заложничество

распространяется кругами: везде, где есть заложники, неизбежно появляются и заложники *pri* этих заложниках и т. д. Везде, где мы оказываемся в заложниках у кого-то, кто-то другой и кто-то третий, в свою очередь, рано или поздно оказываемся в заложниках вслед за нами. Как разорвать этот расширяющийся порочный круг заложничества, как выбраться из него? Или, может, как в достопамятном случае с кругом герменевтическим, спрашивать стоит не о том, как из него выйти, а о том, как правильно в него войти?

Подводя итоги данного рассуждения, могу лишь сказать следующее: во-первых, заложничество само по себе, не только в откровенно насильственных, но и в любых возможных своих проявлениях есть, на мой взгляд, состояние по сути своей несправедливое; пребывая в нём, взыскательная человеческая совесть найти успокоение не может. Во-вторых, достаточно очевидно, что упомянутое несправедливое и тягостное состояние, как бы то ни было, коренится в фундаментальной, дорефлексивной и до-свободной привязанности человека к человеку и побуждает к интенсивному проявлению нравственных чувств, эту привязанность воплощающих. В-третьих, наконец, экзистенциальная задача, которую наличие заложничества в человеческой жизни ставит перед каждым из нас в меру нашей к нему приобщённости, – преобразование в любой доступной нам конкретной точке, хотя бы на йоту, на один-единственный свободный вдох, отношений заложничества в отношения заступничества. Изнутри собственной неволи стать вольным заступником за других: встать с колен и рвануть за собой всю тяжкую цепь человеческих взаимозависимостей, надежд и грехов, нашей общей друг-за-друга-виновности...

... А между тем многие из несчастных, трагическая участь которых дала толчок настоящей работе, остаются в плену до сих пор; их продолжающиеся страдания понемногу перестают шокировать общественность, уступают позиции в рейтинге актуальных политических страстей. Следует, однако, иметь в виду, что к нынешним заложникам в любой момент могут добавиться другие, новые: врата заложничества открыты для всех. Каждый из нас может вдруг ощутить, что у него крепко схвачены руки.

... Впрочем, и со связанными руками можно пытаться встать с колен.

БИБЛИОГРАФИЯ

Апресян, Р. (ред.) (2011). О праве лгать. Москва: Росспэн.

Аристотель. (1983). Никомахова этика. В Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 4. Москва: Мысль, 53–294.

Кант, И. (1994а). Критика практического разума. В Кант, И. Сочинения в 8 томах. Т. 4. Москва: Чоро, 373–479.

- Кант, И. (1994b). О мнимом праве лгать из человеколюбия. В Кант, И. Сочинения в 8 томах. Т. 8. Москва: Чоро, 256–262.
- Кант, И. (1994c). Основоположения метафизики нравов. В Кант, И. Сочинения в 8 томах. Т. 4. Москва: Чоро, 153–246.
- Левинас, Э. (2000). Ракурсы. В Левинас, Э. Избранное: Тотальность и Бесконечное. Москва; СПб.: Университетская книга.
- Мадиевский, С. (2006). Другие немцы. Сопротивление спасателей в третьем рейхе. Москва: Изд-во «Дом еврейской книги» - «Параллели».
- Малахов, В. (2018). Практики людяності: контексти етичного осмислення. У Феномен мистецтва як проблема філософії і культури російського Срібного віку: Матеріали Міжнародної наукової конференції 28–29 квітня 2017 р. Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 172–194.
- Хайдеггер, М. (1997). Бытие и время /пер. В. В. Бибихина/. Москва: Ad Marginem.